

А. Ф. КОНИ

Х

**НА ЖИЗНЕННОМ
ПУТИ**

ТОМ ПЯТЫЙ

[ПОСМЕРТНЫЙ]

**ПРИМЕЧАНИЯ
Ю. Г. ОКСМАНА**

ЛЕНИНГРАД

„П Р И Б О Й“

1929

А. П. Чехов.

(Отрывочные воспоминания)

В минувшем году исполнилось двадцать лет с тех пор как мы лишились Антона Павловича Чехова, в самый разгар злополучной японской войны, которая так тревожила его на закате дней. С тех пор грозные испытания постигли нашу родину, заслонив и затуманив собою многое из прошлого. Но память о Чехове пережила это. Его вдумчивое, глубокое по содержанию и сильное по форме творчество в своем былом проявлении переживает многое, что появилось с тех пор с горделивой претензией на художественность, в сущности сводящуюся к беззастенчивому натурализму. И в моем воспоминании образ его стоит как живой — с грустным, задумчивым, точно устремленным внутрь себя взглядом, с внимательным и мягким отношением к собеседнику и с внешне спокойным словом, за которым чувствуется биение горячего и отзывчивого на людские скорби сердца. Чувство благодарности за большое духовное наслаждение, доставленное мне его произведениями, сливается у меня с мыслью о той не только художественной, но и общественной его заслуге, которая связана с его книгой о Сахалине.

Долгое время недра Сибири, принимавшие в себя ежегодно тысячи осужденных, которых народ сердобольно называл «несчастливыми», были для русского общества и в значительной мере даже для правящих кругов чем-то мало известным, неинтересным или загадочным по своей отдаленности. Представление о Сибири, как месте ссылки и принудительных работ «в темных пропастях земли», слагалось у большинства зачастую так же смутно и тревожно, как и народное представление

о «погибелном Кавказе». Губернские тюремные комитеты, учрежденные в 1829 году, ведали — и притом в очень ограниченных размерах — лишь местное тюремное дело и вовсе не влияли ни на положение ссыльных во время бесконечно-длинного и тяжкого пути «по Владимирке», ни на условия их содержания в отдаленных острогах Сибири. Чтобы оживить их деятельность и придать ей заботливый, а не чисто-формальный характер, нужны были человеколюбивые бойцы и труженики в роде «утрированного филантропа» доктора Гааза, посвятившего свою жизнь попечению о ссыльных. Жизнь его представляет поучительный пример того, сколько упорства, трогательного самозабвения, душевной теплоты и неустанной энергии требовалось, чтобы часто не опустить рук в сознании своего бессилия перед официальным «тупосердием» и бездушными утверждениями, что все обстоит благополучно. Но такие, как Гааз, были наперечет! Только в начале шестидесятых годов Достоевский своими «Записками из Мертвого дома» привлек внимание к положению каторжников и в ярких, незабываемых образах ознакомил с отдаленным сибирским острогом и его населением. Затем, в 1891 году появилась за границей книга Кеннана с описанием сибирских тюрем и господствовавших там порядков, верная в подробностях, но ошибочно приписывавшая многие безобразные явления обдуманной системе, тогда как они были самостоятельными проявлениями личного произвола и насилия. Особенное внимание, возбужденное этою книгой за границей, и вызванные ею негодующие отзывы о русских порядках недостаточно отразились на нашем общественном мнении, так как ни книга, ни ее автор не были допущены в Россию, а перевод ее появился лишь через шестнадцать лет. Значительно сильнее подействовали вести о самоубийстве сосланной в каторгу по политическому процессу Сигиды, подвергшейся за нарушение тюремной дисциплины, по распоряжению властей, телесному наказанию, причем примеру ее последовало несколько человек из единомышленников с нею товарищей по заточению. Затем, в 1896 году, вышли полные «грезвой правды» очерки Мельшина (Якубовича) «Мир отверженных», рисующие тяжкие картины

Карийской и Акатуевской каторги. Таким образом, выяснялась постепенно картина Сибири, как места наказания, и явились твердые, почерпнутые не из буквы закона, а из самой жизни данные, дающие полную возможность судить, как осуществляется на месте это наказание.

Иначе обстояло дело с каторгой, учрежденной в 1875 г. на присоединенном к России, в обмен на Курильские острова, — Сахалине. О том, *что и как* там делалось, получало сведения только тюремное ведомство, да и то, конечно, в канцелярской, бесцветной обработке.

Нужна была решимость талантливого и сердечного человека, отзывчивую душу которого манила и тревожила мысль узнать и поведать о том, что происходит не на сказочном «море Окияне, на острове Буяне», а в далекой и отрезанной от материка области, где под железным давлением закона и произволом его исполнителей влечат свою страдальческую жизнь сотни людей, сдвинутых вместе без различия индивидуальности, бытовых привычек и душевных свойств. Эту задачу взял на себя А. П. Чехов. Его живому характеру и пытливому уму была свойственна некоторая непоседливость, то свойство, которое прекрасно изобразил граф Голенищев-Кутузов в своем романе «Даль зовет». Он ясно сознавал практическую непригодность и нравственный вред нашей типической тюрьмы и наших сибирских острогов, для которых, по его словам, «прославленные шестидесятые годы» ничего не сделали и где мы с нашими пересыльными тюремными порядками «стгноили миллион людей зря, без рассуждений и варварски таская их по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражая и развращая их, размножая преступления и сваливая всю вину на красноносых смотрителей». Ему казалось, что Сахалин как поле для целесообразной и благотворной колонизации может представить могучее средство против большинства из этих зол. Он предпринял, с целью изучения этой колонизации на месте, тяжелое путешествие, сопряженное с массой испытаний, тревог и опасностей, отразившихся губительно на его здоровье. Результат этого путешествия — его книга о Сахалине — носит на себе печать

чрезвычайной подготовки и беспощадной траты автором времени и сил. В ней, за строгой формой и деловитостью тона, за множеством фактических и цифровых данных, чувствуется опечаленное и негодующее сердце писателя. Эта печаль слышится в разочаровании главной целью путешествия — изучения колонизации, ибо на Сахалине никакой колонизации не оказывается, так как она убита именно тюрьмою со всеми ее характерными у нас свойствами, переплывшими с материка и твердо осевшими на острове, не приспособленным ни в географическом, ни в климатическом отношении к земледелию. На нем не оказалось, по выражению Чехова, «никакого климата», а лишь «вечная дурная погода», связанная с постоянно надвигающимися с моря сплошною стеною туманами. Недаром поселенцы говорили про Сахалин: «кругом море, а в середине горе». Это горе, изображенное Чеховым в ряде ярких картин, стало другою причиной печали Чехова, присоединив к его разбитым надеждам ужасы очевидной и осязательной действительности.

Вот сахалинская тюрьма, пропитанная запахом гнили и разложения, переполненная не только людьми, но и отвратительными насекомыми, — с разбитыми стеклами в окнах, невыносимую воню в камерах и традиционной «парашей» — и с надзирательской комнатою, где непривычному посетителю ночевать совершенно невозможно: стены и потолок ее покрыты «каким-то траурным крепом, который движется как бы от ветра, и в этой кишачей и переливающейся массе слышится шуршание и громкий шопот, как будто тараканы и клопы спешат куда-то и совещаются». . . . Вот камеры для семейных, т. е. каторжных и ссыльных, за которыми, составляя сорок один процент всех женщин острова, пришли, влекомые состраданием и обманутые надеждами, жены и привели с собою детей. Они, по выражению многих из них, мечтали «жизнь мужей поправить, но вместо того и свою потеряли». В этой камере нет возможности уединиться, ибо кругом идет свирепая картежная игра, раздается невообразимая и омерзительная в своей изобретательности ругань, постоянно слышатся наглый смех, хлопанье дверьми, звон оков. В одной из таких малых по размерам камер си-

дят вместе и спят на одних сплошных нарах пять каторжных: два поселенца, три свободные, т. е. пришедшие за мужьями женщины и две дочери их — пятнадцати и шестнадцати лет; в *другой* такой же камере содержатся десять каторжных, два поселенца, четыре свободные женщины и девять детей, из которых пять девочек. . . Вот «больничные околотки», где среди самых первобытных условий содержатся сумасшедшие и одержимые опасными заразными болезнями, причем последним поручено щипать корпию для необходимых хирургических операций; и *лазареты*, где оказывают помощь фельдшера, выдающие для внесения в церковные книги такого рода сведения об умерших: «умер от неравности к жизни», или «от неумеренного питья», или «от душевной болезни сердца», или «от телесного воспаления» и т. п. Вот поразительные картины торговли своим телом, производимые поселенками и свободными женщинами от юного до самого преклонного возраста (шестидесяти лет), и вот девочки, продаваемые родителями «с уступочкой», едва они достигают четырнадцати-пятнадцати лет, причем попадают и девяти- и десятилетние. Вот быстро сгорающие уроженцы юга, Кавказа и Туркестана, для которых сахалинское «отсутствие климата» *заведомо* губительно. Вот два палача из ссыльных, исхудалые, с гноящимся телом, вследствие того, что, будучи конкурентами и ненавидя поэтому друг друга, «постарались друг на друге» при наказании плетью. Вот насаждение крестьянских хозяйств посредством раздачи прибывших ссыльных женщин для «домообзаведения» в сожителство отбывшим каторгу поселенцам, обязанным за это построить себе домик или покрыть уже существующий тесом; вот сарай, куда стогняются эти белые рабыни на осмотр и выбор, причем чиновники берут себе «девочек», а оставшиеся затем рассылаются по дальним участкам вследствие просьб «отпустить рогатого скота для млекопитания и женского пола для устройства внутреннего хозяйства». Вот, наконец, ссылка в отдаленные поселки, куда нет, обыкновенно, ни прохода, ни проезда, провинившейся каторжанки или поселенки — одной на тридцать человек холостых и одиноких мужчин. Рядом с

этим, как редкие светлые блики на темном и мрачном фоне, описывает Чехов случаи обнаруженного им примирительного света в загрубелых сердцах с их жаждой справедливости и ожесточенным пессимизмом при ее отсутствии, — с трогательным уходом за сумасшедшими или парализованными сожителями «по человечности», с их тоскою по материке и по родной земле. Он дает яркую картину «свадьбы», заставляющей участников и гостей на краткий срок забыть свою тяжелую долю, и рядом изображает местного *мирового судью*, ощущающего радостное и своеобразное удивление, когда среди переполняющих сахалинскую жизнь побегов, разбоев и убийств ему приходится встретиться, как с редким оазисом в пустыне, с делом о простой, «совершенно простой краже!»

Книга о Сахалине еще не была издана, когда, в декабре 1893 года, меня посетил Чехов, с которым я при этом впервые лично повстречался. Он произвел на меня всей своей повадкой самое симпатичное впечатление, и мы провели целый вечер в душевной беседе, причем он объяснил свой приход полученным им советом поговорить со мной о Сахалине, вынесенным откуда впечатлениями он был полон. Картины, о которых мною упомянуто выше, развертывались в его рассказе одна за другою, представляя как бы мозаику одного цельного и поистине ужасающего изображения.

Я был с 1891 года членом «Общества попечения о семьях ссыльно-каторжных», во главе которого стояла его учредительница Е. А. Нарышкина, вносящая в осуществление целей Общества сердечное их понимание и большую энергию. Благодаря последней Общество получило, путем призыва к пожертвованиям, довольно значительные средства и могло открыть в Горном Зерентуе Забайкальской области приют на 150 детей, попавших в обстановку Нерчинской каторги, — и затем устроить его филиальные отделения еще в двух поселениях. Она же под влиянием вестей о расправе с несчастной Сигицей предприняла весьма решительные и настойчивые шаги, чтобы возбудить во властных сферах сознание необходимости отменить телесное наказание для сосланных в Сибирь женщин,

и своим влиянием, просьбами и убеждениями дала несомненный толчок к последовавшему в 1893 году решению Государственного совета о такой отмене. Я предложил Чехову познакомить его с Нарышкиной в уверенности, что она примет горячо к сердцу сообщаемые им факты и возбудит вопрос о расширении на Сахалине деятельности Общества попечения и о предоставлении ему для этого необходимых средств. Несмотря на полное согласие на это Чехова, свидание не состоялось, так как он должен был уехать в Москву, написав мне следующее письмо: «Я жалею, что не побывал у г-жи Нарышкиной, но, мне кажется, лучше отложить визит к ней до выхода в свет моей книжки, когда я свободнее буду обращаться среди материала, который имею. Мое короткое сахалинское прошлое представляется мне таким громадным, что когда я хочу говорить о нем, то не знаю, с чего начать, и мне всякий раз кажется, что я говорю не то, что нужно. Положение сахалинских детей и подростков я постараюсь описать подробно. Оно необычайно. Я видел голодных детей, видел тринадцатилетних содержанок, пятнадцатилетних беременных. Проституцией начинают заниматься девочки с 12 лет, иногда до наступления менструаций. Школа существует только на бумаге, воспитывают же детей только среда и каторжная обстановка. Между прочим, у меня записан разговор с одним десятилетним мальчиком. Я делал перепись в селении Верхнем Армудане; поселенцы все поголовно нищие и слывут за отчаянных игроков в штосс. Вхожу в одну избу: хозяев нет дома; на скамье сидит мальчик, беловолосый, сутулый, босой; о чем-то призадумался. Начинаем разговор. Я. — Как по отчеству величают твоего отца? Он. — Не знаю. Я. — Как же так? Живешь с отцом и не знаешь, как его зовут? Стыдно. Он. — Он у меня не настоящий отец. — Я. — Как так не настоящий? Он. — Он у мамки сожитель. Я. — Твоя мать замужняя или вдова? Он. — Вдова. Она за мужа пришла. Я. — Что значит за мужа? Он. — Убила. Я. — Ты своего отца помнишь? Он. — Не помню. Я незаконный. Меня мамка на Каре родила... Со мной на амурском пароходе ехал на Сахалин арестант в ножных кандалах, убивший свою

Общества на Сахалин, где им было открыто отделение Общества, начавшее заведывать призреванием детей в трех приютах, рассчитанных на 120 душ. В 1903 году были выстроены новые приют и ясли на восемьдесят человек. Еще ранее на средства Общества был открыт на Сахалине Дом трудолюбия, при деятельном и самоотверженном участии сестры милосердия Майер. В Доме работали от 50 до 150 человек и при нем была учреждена вечерняя школа грамотности. Обществом попечения был задуман ряд коренных реформ положения семейств ссыльных на острове, составлены по этому поводу обстоятельные записки, и Нарышкиной было обещано внимательное и сочувственное отношение к намеченным в записке мерам при обсуждении последней в предположенном особом совещании министров... Но грянувшая война обратила все задуманное в этом отношении в ничто. Занятие Сахалина победоносными японцами и дальнейшая его уступка по Портсмутскому договору прекратили работы всех этих учреждений на острове, и дети были выселены японцами в Шанхай, а оттуда перевезены в Москву.

Книга Чехова не могла не обратить на себя внимания министерства юстиции и Главного тюремного управления, нашедших наконец нужным через своих представителей ознакомиться с положением дела на месте. Отсюда — поездки на Сахалин в 1896 году ученого криминалиста Д. А. Дриля и в 1898 году тюремоведа А. П. Саломона. Их отчеты, к сожалению, не сделавшиеся достоянием печати, вполне подтвердили сведения, сообщенные русскому обществу Чеховым, присоединив к ним несколько характерных особенностей.

Прошло три года со времени моего свидания и беседы с Чеховым. На «базаре» в городской думе в пользу Высших женских курсов, я встретил В. Ф. Комиссаржевскую, которую, будучи знаком с ее отцом, я знал, когда она была еще ребенком. Мы разговорились о драматической сцене, уровень и содержание которой не удовлетворяли замечательную артистку, и она советовала мне притти на первое представление новой пьесы Чехова «Чайка», намечающей иные пути для драмы. Я последовал ее совету и видел это тонкое произведение, рисующее новые

творческие задачи для «комнаты о трех стенах», как называет в нем одно из действующих лиц театр. Чувствовалось в нем осуществление мысли автора о том, что художественные произведения должны отзываться на какую-нибудь *большую мысль*, так как лишь то прекрасно, что серьезно. Столкновение двух мечтателей — Треплева, который находит, что надо изображать на сцене жизнь не в обыденных чертах, а такую, какою она *должна быть* — предметом мечты, — и Нины, отдающей всею душою созданному ею образу выдающегося человека, — с тем, что автор называет «пискарною жизнью», оставляло глубокое и трогательное впечатление. Драма таится в том, что с одной стороны публика, на которую хочет воздействовать своими мыслями и идеалами Треплев, его не понимает и готова смеяться, а с другой — богато одаренный писатель, весь отдавшийся «злобе дня», рискует оказаться ремесленником, едва поспевающим исполнять не без отвращения заказы на якобы художественные произведения, и также безвольным человеком, приносящим горячее сердце уверовавшей в него девушки в жертву своему самолюбованию. Сверх всякого ожидания, на первом представлении образ подстреленной «Чайки» прошел мимо зрителей, оставив их равнодушными, и публика с первого же действия стала смотреть на сцену с тупым недоумением и скукой. Это продолжалось в течение всего представления, выражаясь в коридорах и в фойе пожатием плеч, громкими возгласами о нелепости пьесы, о внезапно обнаружившейся бездарности автора и сожалениями о потерянном времени и обманутом ожидании. Такое отношение публики, повидимому, отражалось и на артистах. Тот подъем, с которым прошли на сцене два первых действия, видимо, ослабел, и «Чайка» была доиграна без всякого увлечения, среди поднявшегося шиканья, совершенно заглушившего немногие знаки сочувствия и одобрения.

Я вернулся домой в негодовании на публику за ее непонимание прекрасного произведения и в грустном раздумьи о том, как это отразится на авторе. Мне ясно представлялось, какие ощущения он должен был пережить, если был в театре или, если отсутствовал, что перечувствовать, когда «друзья» (как известно,

это одна из их специальных обязанностей, исполняемая с особой готовностью) донесут ему о давно неслыханном провале его пьесы. Мне хотелось сказать ему несколько ободрительных слов и показать тем, что не вся публика грубо и непродуманно ополчилась на его творение, и что в ней, вероятно, есть не мало людей, оценивших его талант и в «Чайке». Мне вспоминался при этом Глинка, которого восторженно приветствовали после первого представления «Жизни за царя» и в театре, и в печати, и в тот же вечер на квартире у князя Одоевского, где даже была спета кантата, написанная в честь его Пушкиным и начинавшаяся словами: «Вышла новая новинка, — веселися русский хор, — этот Глинка, этот Глинка — уж не глина, а фарфор». А на первом представлении «Руслана и Людмилы» не только публика демонстративно зевала, шикала, но даже музыканты, исполнявшие эту дивную музыку, шикали из оркестра ее автору, и когда он, смущенный всем этим и не зная, выходить ли на сцену на требование небольшой группы зрителей, обратился к находившемуся с ним вместе в директорской ложе начальнику Третьего отделения, генералу Дубельту, то последний внушительно сказал ему: «Иди, иди, Михаил Иванович, Христос больше твоего страдал». Вспомнился мне и рассказ о свистках и ропоте публики, которыми сопровождалось первое представление оперы Бизе «Кармен», что тяжело отразилось на сердечной болезни талантливого композитора и свело его через три месяца в могилу. А каким успехом пользовались потом обе эти оперы! Ночью я написал письмо Чехову, в котором, если не ошибаюсь, говорил об этих двух фактах, а когда утром прочел в нескольких газетах рецензию на «Чайку» с прямым злоречием, умышленным непониманием или лукавым сожалением о том, что талант автора явно потухает, я поспешил отправить мое письмо. Через несколько дней я получил следующий ответ: «Вы не можете себе представить, как обрадовало меня Ваше письмо. Я видел из зрительной залы только два первых акта своей пьесы, потом сидел за кулисами и все время чувствовал, что «Чайка» проваливается. После спектакля, ночью и на другой день, меня уверяли, что я вывел одних идиотов, что пьеса моя в сценическом

отношении неуклюжа, что она неумна, непонятна, даже бессмысленна и пр. и пр. Можете вообразить мое положение — это был провал, какой мне даже и не снился! Мне было совестно, досадно, и я уехал из Петербурга полный всяких сомнений. Я думал, что если я написал и поставил пьесу, изобилующую, очевидно, чудовищными недостатками, то я утерял всякую чуткость и что, значит, моя машинка испортилась в конец. Когда я был уже дома, мне писали из Петербурга, что 2-е и 3-е представления имели успех; пришло несколько писем, с подписями и анонимных, в которых хвалили пьесу и бранили рецензентов; я читал их с удовольствием, но все же мне было совестно и досадно и сама собою лезла в голову мысль, что если добрые люди находят нужным утешать меня, то значит дела мои плохи. Но ваше письмо подействовало на меня самым решительным образом. Я Вас знаю уже давно, глубоко уважаю Вас и верю Вам больше, чем всем критикам, взятым вместе. Вы это чувствовали, когда писали Ваше письмо, и оттого оно так прекрасно и убедительно. Я теперь покоен и вспоминаю о пьесе и спектакле уже без отвращения. Комиссаржевская чудесная актриса. На одной из репетиций многие, глядя на нее, плакали и говорили, что в настоящее время в России это лучшая актриса. На спектакле же и она поддавалась общему настроению, «враждебному» моей «Чайке», и как будто оробела, спала с голоса. Наша пресса относится к ней холодно, не по заслугам, и мне ее жаль. Позвольте поблагодарить Вас за письмо от всей души. Верьте, что чувства, побуждавшие вас написать мне его, я ценю дороже, чем могу выразить это на словах, а участия, которое вы в конце Вашего письма называете «ненужным», я никогда, никогда не забуду, что бы ни произошло. Искренно Вас уважающий и преданный А. Чехов».

С этого времени мы изредка писали друг другу. Он, между прочим, просил меня выслать в таганрогскую городскую библиотеку, которой он состоял попечителем, мою фотографическую карточку с автографом, ссылаясь на то, что в библиотеке имеются мои сочинения, и прибавляя, конечно, из любезности: «в моем родном городе вас очень любят и уважают». Мы снова

свиделись в апреле 1901 года в Ялте, которую он, в сущности, не любил за ее, как он писал, «коробообразные гостиницы с чахоточными», за «наглые хари татарских проводников» и за «нестерпимый парфюмерный запах», распространяемый приезжими гуляющими дамами. Принадлежавший ему дом, выстроенный на одной из окраин, имел какой-то неприятный вид, а записки на стенах передней и кабинета с просьбой «не курить» указывали, что с хозяином что-то не ладно. И действительно, застегнутое на все пуговицы осеннее пальто Антона Павловича, его задумчивый по временам вид и выразительное молчание или встречный вопрос из другой области в ответ на желание узнать о его здоровье показывали, что он чувствует, как жизненные силы постепенно покидают его. Это сказывалось особенно в его взгляде, тревожно-вопросительном при встрече с новым лицом, хотя он держал себя бодро и отзывчиво по отношению ко всему окружающему. Но безнадежность, часто сквозившая в его умных глазах, и неожиданные задумчивые паузы в разговоре давали понять, что он предчувствует свой неотразимо близкий конец, как врач, и, быть может, оставаясь сам с собою, слушает звучащую в душе одну из мрачных раскольниковых песен: «Смерть, а смерть, это ты? — Это я, это я! — А откуда ты пришла? — Где была, где была! — А пришла ты не за мной! — За тобой, за тобой! — А уйдем мы далеко? — Далеко, далеко!» Часто на морской набережной или на террасе дома Прохаски, куда он не раз заходил ко мне и где мы сживали, он — греясь на солнце, а я — поджариваясь, я, смотря на него, невольно вспоминал слова Некрасова: «Завтра встану и выбегу жадно — встречу первому солнца лучу, снова все улыбнется отрадно и мучительно жить захочу. А недуг, подрывающий силы, будет так же и завтра томить и о близости темной могилы так же внятно душе говорить». Иногда к нам присоединялся Мирлобов, и в беседе время летело незаметно. Чехова очень интересовали мои личные воспоминания и психологические наблюдения из области свидетельских показаний. Однажды, по поводу лжи в их показаниях, я привел несколько интересных житейских примеров «мечтательной лжи», в которой человек

постепенно переходит от мысли о том, что *могло бы быть*, к убеждению, что оно *должно было быть*, а от этого к уверенности, что оно *было*, — причем на мое замечание, что я подмечал этот психологический процесс в детях, он сказал, что то же бывает и с некоторыми очень впечатлительными женщинами. С большим вниманием слушал он также рассказы о виденных мною житейских драмах и иронии судьбы, которая в них часто проявлялась.

Вскоре после моего отъезда из Ялты, с подаренным мне прекрасным его портретом, где он одет в обычное теплое пальто, несмотря на надпись: «7-го мая, в ясный теплый день в Ялте», я получил от него письмо, в котором он говорил: «Сегодня я получил от поэта И. А. Бунина книгу стихов с просьбою послать ее на Пушкинскую премию. Будьте добры, научите меня, как это сделать: по какому адресу послать. Сам я когда-то получил премию, но книжек своих не посылал. Простите, что беспокою вас. Я нездоров и решил, что выздоровлю не скоро». Следующее письмо я получил уже от 12 июня из Аксенова, Уфимской губернии. В нем он писал: «В самом деле, Анатолий Федорович, ваша фотография, которую я только что получил, очень похожа. Это — одна из удачнейших. Сердечное вам спасибо и за фотографию, и за поздравление с женитьбой, и вообще за то, что вспомнили и прислали письмо. Здесь на кумысе скука ужасающая, газеты все старые в роде прошлогодних, публика неинтересная, кругом башкиры и, если бы не природа, не рыбная ловля и не письма, то я, вероятно, бежал бы отсюда. В последнее время в Ялте я сильно покашливал и, вероятно, лихорадил. В Москве доктор Щуровский, — очень хороший врач, — нашел у меня значительные ухудшения; прежде у меня было приглушение только в верхушках легких, теперь же оно спереди ниже ключицы, а сзади захватывает верхнюю половину лопатки. Это немножко смутило меня. Я поскорее женился и поехал на кумыс. Теперь мне хорошо, прибавился на 8 фунтов, только не знаю отчего, от кумыса или от женитьбы. Кашель почти прекратился. Ольга шлет вам привет и сердечно благодарит. В будущем году пожалуйста посмотрите ее в «Чайке»

(которая пойдет в Петербурге), там она очень хороша, как мне кажется».

Улучшение здоровья Антона Павловича было, однако, непродолжительным, и, по мере роста его славы, как выдающегося и любимого писателя, уменьшались силы его и подступала смерть. Она пришла к нему в далеком Баденвейлере, во время страстных порывов вернуться в Россию, куда его постоянно тянуло. Судьба с обычной жестокостью относительно выдающихся русских людей не дала ему увидеть родину, за которую и с которой он столько болел душой, и равнодушно приютила в недрах чужой земли его горячее русское сердце.

Вспоминая характерные свойства личности Чехова и впечатления от большинства его произведений, я нахожу, что он был во многом сходен с покойным Эртелем, столь поучительным и своеобразным в своих письмах и столь несправедливо у нас забытым. В обширной переписке Чехова, в личных о нем воспоминаниях сказывается его духовная самостоятельность. Уже смолоду в нем чувствуется сознание своего человеческого достоинства, не склонного рабствовать перед чужим умственным авторитетом или принижаться, с боязливými отговорками и оглядками по сторонам, перед авторитетом материальной силы. Он следовал завету Пушкина «итти дорогою свободной, куда влечет свободный ум». Еще юношей семнадцати лет он писал своему брату: «Ничтожество свое надо сознать перед богом, природой, умом, красотой, но не перед людьми». И всю жизнь он был поклонником духовной свободы, свободы, как он говорил Плещееву, от давления ходячих идей, навязанных лозунгов, суждений по шаблону, одним словом от того, что столь ошибочно называется общественным мнением, которое редко бывает проявлением общественной совести, но зачастую является выражением общественной страсти, слепой в увлечении и жестокой при разочаровании. Недаром для него Капитолийский холм и Тарпейская скала находятся в очень близком друг от друга расстоянии. Он знал, какую цену имеют иногда провозглашаемые принципы, вовсе не применяемые на практике, и по горькому опыту говорил: «Фарисейство и произвол царят не в одних

только купеческих домах и кутузаках, а их приходится встречать в науке, литературе и даже среди молодежи». Поэтому он сознавался, что относится с отвращением к «умственным эпидемиям». Тщательно охраняя свою душевную свободу от «всепокоряющего» чувства любви, он пессимистически начертил в своей записной книжке: «Любовь — это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, — или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь». — Не сквозит в его произведениях и страха смерти, чем он существенно отличается от Тургенева, в целом ряде произведений которого звучит ужас перед неотвратимостью и жестокостью смерти, и от Л. Н. Толстого, постоянное возвращение которого к мысли о смерти и к заботе о том, что будет после нее, указывают на обширное место, занимаемое мыслью о ней в его душе. И тургеневское и толстовское отношение к смерти имело бы, конечно, не менее оснований гнездиться в душе Чехова: во всю вторую половину своей недолгой жизни он — неизлечимо больной — был приговорен к смерти и знал об этом, как врач, лишь стараясь утешать близких и друзей, скрывая от них возможность скорого исполнения этого приговора. В нем не было угрюмой отчужденности от людей или сосредоточения внимания исключительно на себе, — напротив, он, как видно из его писем, отзывчиво и чутко относился к людям, хотя и не пускал к себе в душу безразлично всякого мимоидущего. Не раз проявляя искреннюю деятельную доброту, он сердечно заботился о помощи разным несчастливцам, голодающим, чахоточным, — содействовал учреждениям, которые работали в их пользу и помогал отдельным лицам, попавшим в Ялту по болезни и впадшим в нужду, и делал все это так, что «левая рука не ведала, что совершала правая».

Стоит затем припомнить его отношение к детям, полное нежного чувства, глубокой мысли и заботливости о смягчении суровых впечатлений жизни, не ускользающих от внимания детей и оставляющих в их душе неизгладимые рубцы. Характерно и не раз встречающееся у него, очевидно вынесенное из житейской

вдумчивости, отношение к «жертвам общественного темперамента», чуждое слащавой чувствительности, но проникнутое глубоким состраданием, при котором банальное удивление: «как могут они (женщины)?!» — замолкает перед гневным удивлением: «как могут они (мужчины)?!».

И к природе он умел относиться с тонким пониманием ее красоты и примиряющего значения. Достаточно указать на описание растительности и в особенности цветов на Сахалине и на многие места в его сочинениях, которые можно назвать «очными ставками с природой».

К творчеству Чехова вполне применимы образные слова о том, что жизнь сеет семена, а творчество, при посредстве воображения, вырабатывает плод. В литературе встречаются нередко две противоположности: или правдоподобные, почти фотографические, взятые с живых определенных лиц образы влетают в совершенно неправдоподобное, вымученное и нарочито сочиненное содержание, — или, наоборот, полное житейской правды содержание замыкает в себе совершенно отвлеченных, безжизненных и автоматически мертвых действующих лиц. У Чехова обилие сюжетов, почерпнутых из жизни в самых разнообразных ее проявлениях, как о том свидетельствует его записная книжка, соединялось с тонкой наблюдательностью, умеющею из подмеченных черт отдельных лиц создавать полные жизни целостные образы, причем глубокая вдумчивость и чувство меры идут у него рука об руку, не переходя, по выражению Л. Н. Толстого, «в пересоленную карикатуру на человеческую душу».

На ряду с его творчеством не меньшее внимание заслуживает его язык — ясный и простой, меткий и скупой там, где всякий излишек слов повредил бы силе впечатления и где необходима та «*élimination du superflu*»,¹ которая так блестяще достигнута братьями Гонкур, Доде и Мопассаном. Если припомнить, до какой степени искажается в настоящее время в разговорном и литературном отношении наш русский язык, —

¹ Устранение лишнего.

как вторгаются в него, без всякой нужды, иностранные слова и обороты, в забвении его законов и источников, — как втискиваются в него сочиненные словечки, лишённые смысла и оскорбляющие ухо, — как вообще на этот язык, который должен считаться народной святыней, смотрят многие, вопреки заветам Пушкина и Тургенева, как на нечто, с чем можно не церемониться, — то нельзя не признать большой заслуги Чехова в его внимательном и почтительном отношении к русскому языку. Его возмущали и столь часто встречаемая у нас небрежность переводов с чужих языков, самовольные прибавки к подлинному тексту там, где не хватает умения передать его в точности, и самодовольный покровительственный тон предисловий «от переводчика». В своей «Скучной истории» он зло, но справедливо указывает на недостаток большинства современных ему литературных произведений, в которых или все умно и благородно, но не талантливо, или талантливо и благородно, но не умно, или, наконец, умно и талантливо, но не благородно. Если прибавить к этому еще ряд произведений, которые изображают собою пересохший ручей мысли в пустыне вымученных слов, то нельзя не почувствовать, каким светом, ароматом и теплом веет от произведений Чехова. Его сравнивали нередко с Мопассаном как по выбору сюжетов, так и по способу изложения, сразу захватывающего читателя. В этом, конечно, много верного. Но преобладающая черта их творчества разная. У Мопассана господствующая нота — *ирония* над человеческою глупостью, жадностью и изменчивостью натуры. У Чехова — *печаль* по поводу этих и других отличительных свойств русского человека. Тургенев нарисовал нам *лишних* людей, не нужных для общества и несчастных в своем личном существовании; через несколько лет, когда начала заниматься заря общественной жизни, он же изобразил нам *бесполезных* людей, непригодных для опередившего их времени («догорай, бесполезная жизнь!» Лаврецкого). Чехов застал уже *хмурых* или вернее *унылых* и *тусклых* людей, современниками которых мы долгое время были, — способных многого *желать*, но не умеющих ничего *хотеть*, не имеющих «вчерашнего дня» и проводящих настоя-

щий день в бесплодных жалобах и жадном ожидании завтрашнего дня без ясного представления о том, что же предпринять, чтобы он — этот желанный день — наступил и что надо делать, когда он наступит. Он прозорливо сознавал, как тонок у нас слой истинно культурных людей, пролегающий между шумливыми критиками без всякой способности к созиданию и упорными «охранителями» без критического отношения к своим действиям и их неизбежным последствиям. Недаром он находил, что в нас «достаточно фосфору, но совсем нет железа» (как виден в этом врач!); что «нам необходим темперамент, а не кисляйство», и его возмущала «куцая бескрылая жизнь общества, в представителях которого так много житейской беспомощности». И это были не теоретические положения, а практические выводы, приобретенные на тернистом житейском пути от веселого «Чехонте», которому приходилось по пять раз стучаться в маленькие редакции за получением заработанных трехрублевков, до выдающегося глубокого «Чехова», которому на первых шагах, по нашему обычному недоброжелательству ко всякому таланту, никто не подвязывал творческих крыльев, пока он сам их не вырастил и не развернул во всю ширь . . .